

IV. УТОПИСТЫ

В то время, когда умолкал протест во имя религии, явились люди, протестовавшие против организованного грабежа во имя философии. Их называли «утопистами», но примеру первого из них, назвавшего свой общественный идеал: «Утопия». Но они были отщепенцами, подобно христианам и сектаторам, и судьбы их совершенно схожи. Эти благородные мыслители, подобно христианам и еретикам, смело указывали на порочность общественных учреждений и возвышали голос в защиту поправленных прав. Презрение, насмешки и гонения были обычной данью благодарности за их великодушную смелость; но они не боялись их и рисковали всем, защищая дело слабых, бедных и угнетенных. Эти независимые характеры не увлекаются жалким желанием играть роль в общество лихоимцев и рабителей. Интересы этого общества чужды им, и они, не обращая внимания на презренные передраги плутов и тиранов, ревностно трудятся, отыскивая истину и обличая неправду. Они не хотят вдаваться в бесконечный лабиринт интриг, в котором самодовольно пребывают их современники. Они видят бессодержательность и ничтожность всех этих хлопот и поползновений, презирают те измышления житейских мудрецов, которыми общество гордится и которым оно радуется, и умирают, не дождавшись не только признания смелых истин, поведенных ими миру, но даже прощения себе за провозглашение этих истин.

Таковы были Мор, Кампанелла [135], Морелли [136], Мабли [137], словом, все авторы социальных утопий, как Утопия Мора, как Атлантида Бэкона [138], как Океания Гаррингтона [139], как Город Солнца Кампанеллы, как Базилиада Морелли. Все эти идеалы счастья были осуждены практическими мудрецами, которые называют их бреднями и химерами и только в припадке великодушия решаются признать их мечтами честных сердец.

Конечно, планы утопистов остались неосуществленными, тогда как практика их противников существует доселе. Тем не менее в их мечтах гораздо больше здравого смысла, чем в нелепой практике современных им обществ. Дело, конечно, не в частности и подробностях их социального идеала, а в общем и существенном характере его. Сущность их утопий состоит в том, что они желали человеческому обществу мира, спокойствия, равенства, отношений братских, нравственных, дружелюбных, что они желали исключить из этих отношений всякого рода несправедливость, всякую эксплуатацию одного другим, всякое насилие, всякий грабеж, всякого рода вражду и страдания. Разве это так безумно? Но чего же желают, по крайней мере на словах, все законодатели, все правители, все практические деятели? Разве они сознаются всенародно, что желают упрочить несправедливость, утвердить насилие, поощрить лихоимство, водворить навеки анархию и войну?

Правда, законы их часто громко свидетельствуют, что действительно такова их цель. Огромное большинство положений всех законодательств клонится единственно к тому, чтобы сверху и донизу, снизу доверху организовать и упрочить насилие и лихоимство. Законы освящают всевозможную эксплуатацию и всевозможный деспотизм — отцовскую

власть, рабство женщины, нищету и зависимость бедняка, безнаказанность барышника, произвол тирана, бесгласность угнетенных. Они дают санкцию всякому насилию и лишают насилуемых всякой возможности сбросить иго. Они признают преступлением свободную речь против грабежа, врожденное стремление человека к независимости, даже самые мирные попытки бедняков выйти из-под ига ростовщиков. Их уголовная юстиция — вечное осадное положение общества; их иерархический порядок — идеал, утопия эксплуатации и рабства; их теория государства — пасквиль на человечество и провозглашение безвыходности анархического состояния общества.

Все это так. Но, к чести человечества, насилие и лихоимство, защищаемые на практике, в теории отрицаются самими разбойниками и ростовщиками. Не было примера, чтобы законодатель объявил прямо своею целью учредить несправедливость и анархию. Были законы, кровавыми мерами защищавшие лихву; были законодательства, признававшие справедливыми рабство, нищету и всякое неравенство. И многое, что ужасает нас в законах Ману [140] и Двенадцати Таблиц, живет еще полною жизнью в современных кодексах. Но даже все это делалось и делается во имя справедливости и общественной пользы, которые всегда признаются целью и идеалом всякого законного порядка.

Итак, сущность общественного порядка утопистов не имеет в себе ничего такого, что не признавалось бы и людьми практической мудрости. Почему же последние относятся к ним с таким пренебрежением? В чем же заключается, по их мнению, их превосходство над этими мечтателями? Что же такое та практическая мудрость их, с которой они носятся, как курица с яйцом, тыча ею в глаза всем, кто осмеливается осуждать их муравейник, в котором они копошатся в вечной борьбе друг с другом, среди вопиющих несправедливостей и безвыходных страданий? Неужели в том, что утописты желают осуществления своего идеала, а практики полагают, что принципы и идеалы — вещь хорошая сама по себе, по жизнь людей должна идти своей колеей без всякого отношения к ним?

Да, главная вина, главная нелепость утопистов, в глазах практиков, — их последовательность, их убеждение, что принципы должны быть слиты с фактами, что теория и жизнь не могут противоречить друг другу. Практика состоит, следовательно, в постоянном противоречии своим принципам, в бесконечном ряде соглашений со всевозможными встречающимися по пути условиями, в осуждении себя на деятельность, заведомо ложную в теории, в самоотречении, в самоунижении, в нравственном самоубийстве. Какая мудрость!

Практические мудрецы, насмехаясь над их утопиями, забывают, какое позорное поражение претерпевали всегда их собственные мудрые и практические планы социального устройстве.

Что случилось с вашими монархиями, республиками, союзами, империями, конституциями? Сколько было у вас споров насчет лучшего политического устройства! Сколько раз каждая из споривших партий имела случай доказать на опыте превосходство своей системы! И что же? Выдержало ли хоть одно из ваших практических изобретений опыт времени? Республиканцы! где ваш идеал? Что случилось с вашими Афинами и Римами, Венециями и Флоренциями? Монархисты! чем кончили ваши всемирные монархии, ваши мечты всеобщего

мира под сильной рукой единого главы? Вот вы, практические мудрецы, и пренебрегаете утопиями отщепенцев, но что же такое ваши-то построения, что же такое ваши создания?

Макиавелли показал вам, что это такое. Напрасно триста лет прикидываетесь вы не понимающими его; напрасно клеветаете на него и с серьезным видом пишете на него глубокомысленные возражения, называя его именем злоупотребления и дурные крайности своих систем. Все это напрасно: история, опыт жизни научили народы понимать и его, и вас. Теперь все знают, что в своей злой сатире он хотел только показать, чем должны вы быть ради последовательности и чем непременно бываете во имя законов логики. Он показал, что ваши монархии и республики не что иное, как заговоры меньшинства против большинства; что заговоры могут удаваться на время, но что, рано или поздно, обманутые массы просыпаются; что таким образом ваши государства, продержавшись несколько времени путем всевозможных злодейств, неизбежно кончают падением; что, наконец, поэтому вы нелепы и смешны с вашими практическими затеями, которые вы в глупом самообольщении называете «вечными», «божественными», «всемирными» и которые на самом деле осуждены на неизбежную гибель, не нынче, так завтра, смотря по тому, насколько будет велика смелость преступления и непреклонность жестокости.

Скажите практическому мудрецу: что, по-твоему, лучше: постоянная борьба каждого против всех, то состояние, где homo hominis — lupus, где каждый скалит зубы на другого и дрожит за выкраденный кусок; где никто о других знать не хочет и, пока сыт, не обращает внимания на умирающих с голоду, зная, несчастный, что, может быть, завтра настанет день, когда он будет голоден, когда ему придется тщетно умолять о сострадании, когда другие пойдут, сытые и довольные, мимо него, не обращая внимания на его страдания: — то состояние, где каждый хлопочет только о себе, нынче насытиться и как можно больше поотнимать у других, чтобы иметь запас «на черный день», где все ненавидят и боятся друг друга; или то, где господствуют братство, солидарность, взаимность, обеспечение? Конечно, скажет он, — второе. Ну, так хлопочи же создать равенство, обуздать хищников, словом, вывести людей, в том числе и себя, из первого состояния во второе, из-под египетского ига с его страшными язвами в землю обетованную. Если ты все это понимаешь, то бери же знамя свободы и равенства и иди, и веди за собой. Почему останавливаешься ты на пути перед золотым тельцом? Почему забываешь и цель свою, и призвание, как скоро на дороге натыкаешься на жирную поживу, и над ней, забыв свои идеалы, забыв счастье, ожидающее тебя впереди, спешишь нажраться и издыхаешь от алчного обжорства в виду пределов ханаанских? Или ты не веришь сам в свой идеал? Но посмотри же на все чудеса, которые тебя окружают! Взгляни на светлый столб прогресса, указывающий тебе путь! Посмотри, как под чудотворным действием взаимности и соединенных усилий людей, связанных солидарностью, камни истачивали воду, побеждались гады, священный огонь пожирал нечестивых, падала с небес манна, словом, побеждалась человеком природа на каждом шагу, который человечеству приходилось делать в печальной степи, где оно бредет еще доныне! Взгляни же на эти чудеса и поверь, поверь, что впереди предстоят еще большие победы над условиями природы, что взаимность, солидарность и труд дадут человечеству многие, еще более славные торжества над грубыми силами материального мира и ослепленных невежеством людских страстей!

Все это так, ответит мудрец; но это невозможно. Конечно, братство, мир и свобода — вечные и справедливые идеалы человечества. Но они неосуществимы, по крайней мере при нынешних условиях (так говорит он и в древнем Гиме, и в X, и в XVI, и в XIX веках христианства). При настоящих условиях остается только организовать насилие, возводить лихоимство в систему и придумывать разные казни, чтобы устрашать грабителей, желающих грабить не по системе, признаваемой обществом, а по-своему, и чтобы поддержать ту систематическую анархию, которую мы принуждены считать порядком, за невозможностью иметь истинный порядок.

Вот на что сводится защита современного общества практическими мудрецами! И прикрывшись этими жалкими софизмами, они влачат общество по бедственному пути насилия и лихоимства, взывая, как бы в насмешку над собой, к идеалу братства и свободы. Так живут они в непроходимом болоте разных практических гадостей и не смеют сделать ни малейшего усилия вылезти из него ни в общественных вопросах, ни в своей частной деятельности, ни взяться за перестройку общества, ни за переделку своего личного положения. И эти-то бессильные карлы, эти жалкие воины дела, осужденного ими самими, эти несчастные глупцы, обрекшие себя вечно пресмыкаться в грязи данных общественных условий, считают себя истинными житейскими мудрецами и называют нелепостью всякое желание дать в жизни место идеалам счастья!

В утопиях отщепенцев, конечно, много фантастического, мечтательного, ошибочного. Но надо помнить, что они писали не конституции государств, подобно практическим мудрецам и мерзавцам, а только приблизительный очерк того состояния, к которому может подойти человечество, отказавшись идти путем насилия и невежества и вступив на путь братства и разума.

Вслед за этими врагами правды и другие бессмысленно повторяют их нелепые выходки против утопистов. Но что сказали бы они, если механик стал утверждать, что нельзя на практике устроить колеса, что теория чистой математики — утопия, потому что в природе не может быть математического круга? Что сказали бы они, если бы оптик отказался делать оптические стекла, обвиняя теорию в нелепости, потому что нельзя уничтожить аберрацию? Что сказали бы они, если бы купец обвинял покупателя в делании фальшивой монеты за то, что в червонце, который он ему дал, есть лигатура? А между тем они сами рассуждают точно таким образом. Им рисуют желательный идеал, а они говорят, что он неосуществим в своих частностях, и потому лучше оставаться при кулачном праве. Им предлагают червонцы, а они спешат произвести химический анализ и, открыв в них присутствие лигатуры, остаются при своем навозе!

Такова-то эта практическая мудрость!

Но обратимся к утопистам и, чтобы понять смысл их утопий, посмотрим, как глядели они на современное им общество.

«Вы жестоко казните воров, — говорит Мор, — но не лучше ли было бы обеспечить существование всех членов общества, чтобы никому не было нужды воровать и потом гибнуть за это? Общество заботится об этом, отвечаете вы: промышленность, земледелие

представляют народу множество средств к жизни; но есть люди, предпочитающие преступление труду. Постойте... я не буду говорить о тех, которые искалечены или стали уродами; взглянем на то, что происходит ежедневно».

«Главная причина общественной нищеты — это множество аристократов, тунеядных лихоимцев, кормящихся чужим потом и трудом, и которые возделывают свои земли, обдирая до крови арендаторов, чтобы умножить свои доходы. За ними следует толпа праздных слуг, неспособных иначе зарабатывать себе пропитание».

«С какой стороны не взглянешь, эта громадная толпа тунеядцев оказывается совершенно бесполезною, даже на случай войны, которую впрочем всегда можно избежать. В мирное же время это сущая язва».

«Дело дошло до того, что даже овцы, животные столь кроткие, неприхотливые, обратились у нас в таких прожорливых хищниц, что поедают людей и опустошают поля, дома и деревни. Всюду, где собирается с них лучшая шерсть, являются толпы вельмож, богачей, священников и оспаривают друг у друга каждый клочок земли. Этим беднякам мало их рент, бенефиций, процентов; они отнимают у земледелия обширные пространства земли, обращают их в пастбища, разрушают дома, деревни и оставляют целою только церковь, чтобы обратить ее в овечий хлев... Таким образом лихоимец присваивает себе тысячи десятин и спешит загородить их стеною. И честные земледельцы изгоняются из своих жилищ, одни обманом, другие силою, а третьи, счастливейшие, придирами и прижимками, которые вынуждают их продавать свои имения. Несчастные бегут из-под кровли, под которой родились, продают за бесценок все, чего не могут унести. Когда истощатся у них скудные средства, вырученные от этой продажи, что им останется делать? — Воровать и идти на виселицу (*id cum breviarondi insum prerint quid restât alind, quam uti furentur et pendeant*){19}.

Или, быть может, они предпочтут идти по миру? Но их не замедлят посадить в тюрьму, как бездомных бродяг без рода и племени. Но в чем же их преступление? В том, что никто не хочет принять их услуг, которые они предлагают с такою готовностью».

«Обуздайте же лихоимство богатых; лишите их права грабить. Истребите тунеядцев. Пока вы не исправите всех зол, которые я указал вам, не говорите мне о вашем правосудии — оно ложь. Вы отдаете миллионы детей в жертву порочному и безнравственному воспитанию. На ваших глазах разврат губит эти юные растения, которые могли бы расцвести для добродетели, и, когда сделавшись взрослыми, они совершат преступления, привитые к ним с колыбели, вы поведете их на казнь! Что же вы делаете? — Воров, чтобы иметь потом удовольствие их вешать (*quid aliud quaeso quam facitis fures, et inde plectitis*)»{20}.

«О вы, неумеющие управлять, сознайтесь наконец, что вы недостойны и неспособны повелевать свободными людьми. Или исправьте свое невежество, свою гордость и леность. Создавайте учреждения, которыми зло предупреждалось бы и пресекалось в корне».

«Конечно, правду, откровенно высказанную, не замедлят встретить насмешками. Но подло и глупо скрывать истины, осуждающие общественное зло, потому только, что их примут за

нелепые новости и за неосуществимые химеры. Ведь так пришлось бы спрятать евангелие и скрывать от христиан учение Иисуса».

Так говорил Томас Мор, лорд-канцлер Англии. После него так же смотрели на общество и другие люди, отрицавшие практическую мудрость.

«По-моему, — говорил Мерсье (Homme de fer, 1786), {21} — кто, родившись, не имеет на земле угла, где приклонить голову, необходимо враг всех собственников. Лапландец, родившись, получает по крайней мере хоть оленя, а когда у него прорежутся зубы, ему дают другого; в Европе же есть миллионы людей, у которых нет своего ни одного дерева. Можно было бы написать страшную книгу по поводу слова «собственность».

«Самые бедные люди, вдобавок еще, принуждены кормить и воспитывать людей, которые со временем за ничтожную плату будут служить шайке богатых. Право, нельзя достаточно надивиться тому, что творится в обществе!»

«Люди, изобретающие разные планы народного воспитания, — говорит федералист Бриссо [141] (в брошюре 1787), — забывают одно, что народ, ничего не имеющий, не может иметь и хорошего воспитания. Без собственности у него нет отечества; без собственности против него все, и сам он должен быть вооружен против всех. Общество кричит ему: уважай собственность богатого соседа! Он же может спросить его: а уважило ли ты мои права? Правительство кричит ему: неприятель овладел моими владениями; вооружайся, защищай меня, умри, если нужно! Умирать? За что? — может он ответить. — Да разве у меня есть что-нибудь? Разве неприятель, сделавшись моим господином, будет ко мне жестокосердее тебя? Разве он может наделать мне больше ела, чем ты? Разве он может придумать для меня худшее иго?»

«Что ответить этому несчастному?»

«Гордец, презрительно оскорбляющий несчастных среди роскоши, в которой ты плаваешь, перестань называть собственностью плоды своего лихоимства! Перестань оснащать их неправыми законами и устрашать строгими карами невинных, восстающих против них! Да, эти рвы, эти стены, которыми ты окружаешь свои парки, эти заставы, которыми ты преграждаешь вход в свое имение, — все обличает твою тиранию».

«Яков называет себя собственником сада; имеет ли он больше прав на него, чем Петр? Нет, конечно, нет. Родители Якова передали ему это наследство; но на каком основании обладали они им? Проследите какой угодно порядок наследственности, и вы увидите, что первый, назвавшийся собственником, не имел никаких прав на свое владение».

«Все эти соображения делают очевидною противоестественность принятых начал гражданской собственности. Могло ли естественным путем возникнуть такое существо, как окупщик? Может ли разум представить себе существование субъекта, именующего себя собственником 300 десятин земли, лежащих на 200 верст от его местожительства и которых он даже не видел?»

«Гордец! у дверей твоих люди мрут с голода, а ты считаешь себя собственником! Лжешь! Вины твоих погребов, запасы твоих кладовых, твоя мебель, твое золото — все это принадлежит им: они — хозяева всего этого. Таков закон природы».

«Нарушено естественное равновесие между людьми. Изгнано равенство, и возникли ненавистные различия между богатыми и бедными. Общество разделилось на два класса: первый — собственников и второй, гораздо многочисленнейший, — народа. И для поддержания жестокого права собственности были изобретены жестокие казни. Нарушителя этого права называют вором, а между тем настоящий вор — богач, имеющий излишек. В обществе же вор тот, кто отнимает что-нибудь у этого богача. Какая путаница в мыслях, какой хаос в понятиях! (Resherches philosophique sur le droit de propriété et de vol. 1780)» {22}.

«Лихоимство и насилие, — говорит Лепте, — овладели светом. Они согласились давать владение землею только тому, кто примет их сторону. Поэтому, у кого нет паспорта, выданного этими двумя тиранами, тому не найдется на земле не одного угла для убежища».

«В наших цивилизованных странах все стихии обращены в рабство. У каждой есть свои господа, которые продают позволение пользоваться ею. Самое бесплодное поле непременно принадлежит какому-нибудь деспоту, который может обвинить в преступлении путника, осмеливающего дышать свежим воздухом на его владении. Богач, присвоивший его себе в исключительную собственность, может не согласиться даровать другим право на воздух своих владений. Чтобы получить согласие его на пользование его сокровищами, надо согласиться участвовать в их умножении».

«Он вечно подозревает бедняка, которого грабит, и считает независимость покушением на свои права, свободу — бунтом. Он громко говорит, что ему одному принадлежит право мыслить. Он постоянно хлопочет о том, чтобы как можно больше подавить бедных из опасения, что, очнувшись, они сделают из сил своих не то употребление, которого он требует. В отношении бедных он следует примеру египтян, угнетавших израильтян: он обременяет их работою, чтобы лишить их времени думать о причине своего бедствия».

«Горе гордому и сильному, который, презирая общественное порабощение и не желая иметь с обществом ничего общего, отправился бы в пустыню искать утраченного достоинства своего рода. Приходится отказаться от этих мечтаний о независимости и свободе. Приходится сообразовать свой образ действий с общественными условиями.

Приходится найти такое занятие, чтобы можно было кое-как добывать себе средства к жизни. Приходится предаться духу барыша и, под влиянием самой настоятельной необходимости, согласиться бороться против всех прочих людей, одушевленных теми же принципами и так же движимыми необходимостью жить, одеваться и пользоваться теми пошлыми развлечениями, которые у нас величают именем наслаждений. (Théorie des lois civiles, 1767)» {23}.

«Главная задача общества — избавить богатого от труда. Уничтожив рабство, не уничтожили ни богатства, ни его преимущества. О восстановлении равенства никто и не

подумал; богатый отказался от своих преимуществ, но лишь для вида. На самом же деле все осталось по-прежнему. Большинство продолжает жить жалованьем и в зависимости от меньшинства, которое присвоило себе все. Рабство утвердилось на земле на веки и только переменяло название».

«Наши города и деревни населены рабами, известными под именем поденщиков, работников и т. д. Их не бесчестят блестящие ливреи холуйства; они покрыты отвратительным рубищем — ливреею нищеты. Они никогда не пользуются благами, источник которых — их труд. Они заменили в нашем обществе рабов старого общества и составляют большинство всех наций. Рассматривая их положение, приходится сознаться, что низшие классы обогатились от уничтожения рабства лишь постоянным страхом голодной смерти, тогда как предшественники их в задних рядах человечества были, по крайней мере, обеспечены хоть от этого несчастья».

«Раба кормили даже тогда, когда он не работал. Но свободный работник, получающий мало, даже когда работает, без работы окончательно гибнет. О нем никто не заботится. Никто и не пожалеет его, когда он, наконец, погибнет от истощения и нищеты. Кому нужна его жизнь? Он ни к кому не привязан, и никто не привязан к нему. Когда в нем есть надобность, его нанимают, как можно дешевле, жалкая плата, которую ему обещают, едва равняется цене припасов, крайне необходимых для дневного пропитания. За ним ставят надсмотрщиков, чтобы понукать его в работе; его насильно торопят, боясь, чтобы как-нибудь он не избежал каторжной работы, на которую его осуждают».

«Хозяин дорожил рабом, которого покупал за деньги. Но поденщик не стоит ничего развратному лихоимцу, нанимающему его. Во времена рабства человеческая кровь сколько-нибудь ценилась. Рабы ценились хоть на ту сумму, которую за них платили. С тех пор, как их перестали продавать, они потеряли всякую цену. В армии лошадью дорожат гораздо больше, чем солдатом, потому что лошадь дорога, а солдат получается даром. С уничтожением рабства этот военный расчет перешел и в обыденную жизнь; с тех пор каждый заживевший буржуа смотрит на людей глазами героя».

«Поденщики рождаются, растут и воспитываются для служения богатству, не стоя ему ничего, подобно дичи, которую оно стреляет в своих владениях. По-видимому, современные капиталисты открыли секрет, которым напрасно похвалялся бедняга Помпей. Им стоит ударить ногой оземь, чтобы из земли вышли легионы тружеников, оспаривающих друг у друга честь служить им. Едва выбудет кто-нибудь из толпы наемников, воздвигающих их здания и выравнивающих их сады, как место его в ту же минуту занимает само собой, без всяких хлопот для собственника. Легкость, с которой замещаются рабочие, увеличивает бесчувственность к ним богатых».

Обличая так верно, так метко общественные язвы, утописты противопоставляли этому ужасному социальному состоянию свои идеалы. В этих идеалах, конечно, не все безукоризненно верно, и во многих частностях утопии их расходятся друг с другом. Но сущность их всегда одинакова и всегда выражает одно и то же желание учредить на развалинах старого порядка противоположный ему новый, где насилие и лихоимство были бы заменены свободой и взаимностью. Это — вечная мечта всех этих честных утопистов и

мечтателей, кто бы они ни были, отцы церкви или атеисты XVIII века, вожди восставших рабов или канцлеры и министры, философы или невежды, патриархи или энциклопедисты.

Мы уже знаем, каков был идеал христиан: общность имущества, братство, взаимность, труд, презрение к роскоши; такова «Утопия» Деяний Апостольских, монастырских уставов и отцов церкви. Эти утописты попробовали осуществить свою утопию среди общества, погруженного в разврат и преданного грабежу. Что вышло — мы видели. Монастыри, эти фаланстеры, где должны были царствовать труд, бескорыстие и братские отношения, обратились, под тлетворным дыханием окружающей среды, в притоны тунеядства, роскоши, честолюбия, лихоимства и разврата. Кончилось тем, что нация, возмущенная нелепостью и безобразием католичества, с восторгом приветствовала и громовые речи реформаторов и насмешки Этьена, Рабле и Вольтера, обращенные против церкви. Монастырская жизнь представляла немало пищи и серьезным обвинениям, и сатире. И обвинители, и насмешники не преминули обвинить за все ее нелепости самый христианский идеал, во имя которого она была некогда основана.

Это простительно людям, увлеченным негодованием против гнусного зла; но нельзя не сознаться, что увлечение это было крайне и несправедливо. Виноваты ли идеи равенства и братства в том, что люди не умели или не могли, при известной обстановке, осуществить их? Точно так же не виноваты они, если после монахов не сумели бы осуществить их, в среде лихоимствующего общества, другие люди: это не мешает им остаться истинными и продолжать быть по-прежнему идеалом всех благородных умов, не выносящих практики существующего порядка.

Живучесть их удивительна. Едва успел католицизм уронить и опозорить окончательно монастырскую жизнь; едва народы, по голосу передовых мыслителей своих, успели с отвращением отвернуться от недостойных представителей христианского идеала, как идеал этот в ту же минуту уже воскрес во всей своей евангельской чистоте в умах мыслителей, совершенно иного направления, в умах, воспитанных только что возродившеюся философией греков. Послушаем Мора:

«Если бы я вздумал рассказывать теорию республики Платона или обычаи, ныне существующие у жителей „Утопии“, обычаи, столь далеко превосходящие наши понятия и нравы, все сочли бы меня выходцем из другого мира, потому что у нас каждому принадлежит право исключительной собственности, тогда как там все имущества составляют общее достояние. (Nec privatae sunt possessiones, illic omnia sunt communia){24}. Но там, где существует частная собственность, где все измеряется на деньги, там невозможна справедливость и процветание государств».

«В „Утопии“ законов мало; администрация заботится об всех гражданах. Достоинство всегда вознаграждается, и в то же время национальное богатство распределено так равномерно, что каждый пользуется всеми удобствами жизни (ut tamen aequatis rebus, omnia abundant omnibus){25}. У нас же, где освящено начало исключительной собственности, недостаточно миллионов законоположений, чтобы доставить каждому собственность и дать ему средства защищать ее и отличать от чужой!»

«Когда я думаю об всем этом, я не могу не отдать полной справедливости Платону и не удивляюсь, что он не хотел учреждать законов для народов, не желавших ввести у себя равенства имуществ. Этот великий ум видел ясно, что без равенства невозможно общественное благосостояние и что единственное средство учредить равенство заключается в уничтожении исключительной собственности; потому что иначе каждый будет всячески стараться оттянуть в свою пользу как можно больше. И как бы ни было велико общественное богатство, но дело кончится непременно тем, что меньшинство приберет его к своим рукам, оставив прочих в нищете. Вот почему я убежден, что, для установления равенства и справедливости и для упрочения общего благосостояния, необходимо предварительно уничтожить собственность. (*Res aequabitur ac iusta aliqua ratione distribui, ac feliciter agi cum rebus mortalium, nisi sublatâ prorsus proprietate, non possint*){26}. Пока она будет существовать, самый многочисленный и достойный класс всегда будет иметь уделом лишь голод, страдания и отчаяния».

«Я знаю, что есть средства, которыми можно облегчить зло; но ими нельзя излечить его радикально. Можно, например, установить *maximum* для частных владений землею или деньгами (как в законах Платона) или издать сильные законы против деспотизма и анархии. Средства эти, может быть, превосходны, как палиативы, способные до некоторой степени усыпить боль; но недействительно восстановление сил и здоровья, пока будет существовать частная собственность. (*Ut sanentur vero atque in bonum redeant habitum, nullo omnino spes est, dum sua enique sunt propria*)»{27}.

«В „Утопии“ работают только по 6 часов в сутки. Мне скажут, быть может, что этого недостаточно и что вскоре должна ощущаться нужда. Нисколько; напротив того, этого не только довольно, но даже достаточно для произведения всех удобств жизни. Вы легко поймете это, если примете в соображение, сколько людей у других народов ничего не делают. Во-первых, все женщины, составляющие половину населения, и большая часть мужчин. Вся эта огромная толпа монахов и членов тунеядного духовенства (*sacerdotum ac religiosorum, quos vocant, quantacumque otiosa turba*){28}. Далее все эти богатые собственники (*ad iocem divites omnes praediorum dominos*){29} и вся стая лакеев и ливрейных бездельников».

«В „Утопии“ праздность и лень невозможны. Всеобщее изобилие является плодом этой деятельной жизни, и довольство распространяется равномерно на всех членов общества. Когда в одной местности урожай, а в другой недостаток, принимаются меры для восстановления равновесия безвозмездно. Город, который отдает свой излишек хлеба, ничего за это не получает; и сам получает даром все, что ему нужно. Словом остров „Утопия“ представляет весь как бы одну семью (*ita tota insula veit una familia est*)»{30}.

«Вот какова эта республика! По-моему, она не только лучшая из всех существующих, но единственная, заслуживающая имени республики. Всюду, в других странах, люди, толкующие об общих выгодах, помышляют только о собственных; между тем как там, где ни у кого нет ничего собственного, все серьезно занято общественною пользой, потому что она действительно сливается с частною»

«В общине ни у кого нет ни в чем недостатка, потому что государственные имущества распределяются справедливо. Нет не бедняков, ни нищих, и хотя ни у кого нет ничего своего, однако все богаты. Утонийская республика печется о всех, как о тех, которые трудятся, так и о старцах и больных, отслуживших свой век. Можно ли сравнить с этим наши порядки, где человек, ничего не производящий, наслаждается бездельем и роскошью, тогда как работник, земледелец, ремесленник живут в убийственной нищете, едва добывая себе самое скудное пропитание. Они принуждены работать так долго и обречены на такую тяжелую работу, что ее не выдержит вьючное животное, и до того необходимую, что без нее общество не просуществует и года. Положение скота, право, лучше: он работает меньше, кормят его лучше, соответственно его вкусу, и притом животного не тревожит будущность».

«Но какова участь работника? Бесплодный, машинный труд гнетет его в настоящем, а в будущем его сокрушает перспектива жалкой старости. Богатые ежедневно что-нибудь похищают из скудной платы бедняков равными хитростями и даже нарочно издаваемыми с этой целью законами. По-видимому, ничего не может быть несправедливее такой неблагодарности к людям, которые всех поят и кормят; но богатые обратили эту несправедливость в чудовищное мошенничество, освятив ее законами. Рассматривая самые цветущие наши республики, я вижу в них просто заговор богатых, обделяющих свои делишки под пышным титулом республики. (*Nihil aliud quam quaedam conspiratio divitum de suis commodis republicae titulo nominaeque tractantium*)»{31}. Заговорщики стараются всеми хитростями и вообще всеми средствами достичь своих целей. Цели эти, во-первых: обеспечить себе спокойное и прочное владение состоянием, нажитым более или менее подло; во-вторых: пользоваться нищетою бедных, злоупотреблять ими, как скотами, и как можно дешевле покупать их работу. И эти-то махинации, устроенные богатыми от имени государства, следовательно, в том числе от имени самых бедных, обратились в законы! (*Haec machinamenta ubi semel divites publico nomine hoc est etiam pauperum decreverunt observari*){32}.

Прошли века, и мечты утопистов не забыты. Напротив того, они постоянно все более и более выясняются и принимают философское основание и определенный, разумный характер. Влияние философии XVIII века отражается на утопиях Морелли и Мабли, которые дают уже предчувствовать Фурье и Овена.

«До сих пор, — говорит Мабли (*Législation, ou Principes de Sois, 1776; Doutes proposés aux économistes sur l'ordre naturel des sociétés politiques, 1768*){33} общество представляло всюду скопище угнетателей и угнетенных. Тысячи жестоких революций уже тысячу раз изменяли вековые порядки и уничтожали самые великие государства. Однако этот вековой опыт не вразумил еще нас и не убедил, что мы ищем счастья в том, в чем его нет».

«Напротив того, мнимая философия, приняв все нелепости, совершающиеся в мире, за правило того, что должно быть, помогла нашим предрассудкам и придала им вид разумности; вследствие чего они могут простоять еще долго. Шарлатаны льстили нашим прихотям и, желая поучать нас, сами еще не выйдя из невежества, насаждали нам софизмов, которые мы приняли за истину».

«А между тем, исследуя сердце человеческое, мы видим, как искусно развиты различные потребности, которым мы подчинены, чтобы сделать нас необходимыми друг другу и обратить наш эгоизм во взаимное расположение и братство. В нашей душе живут многие социальные качества, служащие для нас невольными инстинктами, благодаря которым нам дорого счастье ближних. И мы, под влиянием любви к наслаждению и опасения страдания, стремимся сблизиться друг с другом, любить помогать и делать друг другу взаимные услуги. Мы чувствуем сострадание, благодарность, потребность любви, страх, надежду, соревнование, славолубие и т. д.»

«Когда я думаю об этом и читаю описание какого-нибудь пустынного острова, где небо ясно, вода чиста, мне всегда приходит в голову отправиться туда, учредить там республику, где все были бы равны, все богаты, все свободны, все братья и где первым законом для всех было бы отсутствие частной собственности».

Таковы были мечты и утопия отщепенцев, из века в век Повторявших свой протест против господствующего порядка и напоминавших о своем социальном идеале равенства, братства и свободы.

Практики весело смеялись над ними и продолжали, не смущаясь, бражничать, бездельничать, свирепствовать или проповедывать религиозную реформу на манер Генриха VIII [142], любить по способу Людовика XV, учреждать свободу на образец Иосифа II [143]. Их деятельность казалась им такую практической, такую осмысленной, такую прочной, а эти утопии такими смешными бреднями...

Но ударил гром, налетел ураган, земля затряслась, и совершился страшный катаклизм. И когда взошло солнце нового века, оно осветило одни мертвые развалины.

Версия #1

Зверобой создал 3 июня 2026 01:23:45

Зверобой обновил 3 июня 2026 01:29:03